

КОГДА я учился в первом классе, мы с компанией ребят-сверстников ходили из Флотского посёлка в школу № 20 на улице Калинина. Директором школы была высокая, красивая и добрая женщина с чёрными в проседь волосами. Говорили, что её жених был лётчиком и погиб на фронте. В те годы всё вокруг дышало недавней войной, о ней нам рассказывали книжки в детском саду, о ней говорилось на страницах газет, она звучала в песнях по радио, о ней напоминала одежда людей, одетых в шинели и гимнастёрки. Имена Сталина и советских полководцев в радиопередачах, людские разговоры, песни – ничто не давало забыть о ней. Даже воздух ещё был военный – тревожный, сухой, колючий.

Портреты Виктора Талалихина, Александра Матросова, Зои Космодемьянской, героев-молодогвардейцев висели на стене школьного зала, где проходили торжественные линейки и сборы пионерских дружин. Имена юных героев звучали для нас равнозначно с именами русских богатырей из книжки былин.

Утром в школу каждый добирался по-одиночке, а после уроков мы шли домой единой, шумливой мальчишеской оравой. Сначала по Советскому проспекту, мимо пристани, Петровского домика до Московской заставы.

На углу Советского проспекта, на первом этаже старого деревянного дома, размещалась какая-то контора, а из подвала круглые сутки доносились грохот и железный шум.

Но не шум мигом привлёк наше внимание к дому. Твёрдую, пропечённую солнцем землю вокруг дома усеивали плоские жестяные с радужным отливом диски. Мы с криками радости бросились во двор, подбирали эти диски, отталкивая друг друга, набивая дисками карманы пальто. А назавтра выкинули эту находку из карманов. Теперь, проходя двором, мы небрежно попинывали их, никуда не пригодились жестяные кружки.

Они не летели, со свистом рассекая воздух, как мечталось нам. Они не катились юрко и проворно по земле. Они были слишком малы и легки для всего этого. Чуть больше медали «За отвагу», они тут же пикировали на землю в коротком полёте или кургузо сваливались на бок, прокатившись всего метр-другой. Зачем они валяются тут? Кому они нужны? Миновала осень, в морозах и метелях земля накрыла зима. Шум из подвала доносился глухо, да мы вообще перестали слышать его.

Весна! Выглянуло тёплое солнце. Запели птицы, из земли полезла трава, расцветная золотыми глазками мать-и-мачехи. В подвале дома растворили окно, и грохот опять слышался на полквартала.

Как-то я шёл из школы домой. Настроенное у меня было превосходное: скоро каникулы, на уроках я получил пятёрку, отец с матерью похвалят меня.

Подходя к угловому дому, я замедлил шаги, мне стало чрезвычайно любопытно узнать, что же так невыносимо грохочет и гремит в подвале?

На ржавом листе железа я прочитал по складам: «Артель инвалидов «Штамп». Всеобщее общество слепых».

Я поставил портфель на землю и заглянул в окно.

В сумрачной, с низким потолком большой комнате, конца которой я не разглядел, стояли ряды окрашенных тёмно-зеленой краской, как в те годы красили стены больниц и солдатских казарм, вертикальных станков. За станками сидели люди. Все они показались мне стариками, в чёрных клеенчатых передниках. В подвале скучно светили три или четыре лампочки. Лица у людей были серые, застывшие, как маски.

Сидящий за станком человек производил два простейших движения. Он что-то брал из стопки справа от себя, клал этот предмет перед собой, нажимал ногой на педаль сбоку станка. Тогда и раздавался грохочущий удар. Человек опять брал что-то справа, снова нажимал ногой на педаль. И так без конца. Тут я разглядел, что перед ним лежит не что иное, как наши, ни на что нам не пригодившиеся кружки. Стук-гром, стук-гром. Рука и нога совершают однообразные заученные движения.

Человек, сидевший у окна, неожиданно повернул голову. Как все взрослые, сейчас он крикнет на меня, прогонит прочь. А человек смотрел на меня непонятным, не мигающим, неживым взглядом. Словно он хотел что-то спросить у меня, но задумался с вопросом. И смотрел не столько на меня, сколько куда-то вверх, за меня. Словно он что-то видит там, не доступное мне.

Оцепенев, я вдруг догадался, что человек этот не видит меня. Он слепой. И все, сидящие в подвале – слепые!

Мне стало страшно, по спине моей побежали холодные мурашки. Я грёб в охапку портфель и кинулся бежать.

Весь день заволокло для меня серой занавеской.

Я равнодушно сообщил матери о пятёрке, как будто получал их по пять штук на дню, кое-как приготовил уроки, не пошёл играть с ребятами.

Я плохо спал ночью, что-то грезилось мне страшное, чёрное, огненное, кровавое, над мной всё грохотало и падало. Я просыпался с застывшим на губах криком ужаса, открывал глаза, а в комнате было уютно тихо, на большой кровати спали отец и мать, мирно тикали старинные настенные часы, а над комодем в утренних сумерках грустно смотрел с портрета Сталин.

Несколько дней я ходил как потерянный. Меня не радовали ни близившиеся каникулы, ни весёлые ручьи, по которым бежали запущенные кораблики – шепки. Зрелище, сидящих у станков молчаливых несчастных, словно отменяло праздник ликовавшей вокруг жизни.

Но что же они там делают? Я долго крепился, не зная, как отнесётся к моему вопросу мать. Объяснит мне происходящее в подвале или скажет, чтоб не совал я свой нос, куда не просят, у ней и так забот не мало. Однако носить эту мутность в душе стало невмочь, и я спросил.

– Не знаю, – сказала мать, – не знаю я ни о каком подвале. Где это?

Я принялся по-мальчишески сумбурно объяснять.

Роберт БАЛАКШИН

## НОЧНАЯ ПЕСНЯ

Рассказ

– Да это на углу Советского и Калинина, – встряла тётя Катя, жена однорукого сапожника, – солдаты-инвалиды пробки для пивных бутылок делают. Работа копейшная, а калечатся они... не видят же ни лешева...

Мать махнула рукой, не слушая её. А я ничего не понял: что за пробки, для чего их делают? Тётя Катя трещала, как сорока.

Не раз я потом проходил возле этого дома, в окно заглянуть больше не отважился. Потом я вовсе избрал себе другой маршрут путешествия в школу и обратно. Как-то возвращаясь с друзьями домой, я свернул на позабытую улицу. Окна в подвале забиты досками, в нём было могильно темно и тихо.

Прошло много лет. Так много, что я отслужил в армии. Старшие офицеры в нашем полку все были фронтовиками. Мои детские видения иногда пробуждались в душе. Они были из того рода, что даются человеку на всю жизнь.

Остался в далёком прошлом и армия, у меня появились внуки, и я вышел на пенсию.

Однажды, в ненастную осеннюю ночь, когда на всём белом свете нет человека несчастнее одинокого солдата, каким-то образом я очутился на улице... Вдобавок к непогоде на землю опустилась страшная холодина. Такая страшная, что холод продирал меня аж до самых кишок. Кто пожалеет солдата? Никто. Родной матушки поблизости нет, а чтобы командирам жалеть солдат, так такого устава ещё не написано. Хотя я могу ошибаться. Командиры, как и люди, бывают разные.

Я отметил одну особенность этой странной ночи. Никогда я не слышал такого ветра. Он завывал как-то совсем иначе, чем обычный ветер. Его порывы были похожи на человеческие вздохи. В его протяжных дуновениях чуялись интонации живого голоса. Ветер, действительно, дышал как человек.

Тут я и услышал песню. «Какая песня, ночью, в спящем городе, – не поверил я. – Может, я сплю? Но нет, вот снова, и опять».

Да, вне сомнения, то была песня. Мне не послышалось. Песня была старая, прежняя, хотя и военная, но её теперь даже 9 мая не поют. И она согрела меня. Не сама песня, слишком она ещё была коротка, а мысль о ней.

– Солнце скрылось за горою, – грустно воспели тенора.

– Затуманились речные перекаты, – согласился голоса чуть погромче. Но тут вступил всеми тремя регистрами хор целиком:

– А дорожкою степною  
Шли с войны домой советские солдаты.

Я пристроился слухом к звучащей стручке, и пошёл на голоса, туда, откуда они слышались.

Не только ветер, весь город переменялся в эту ночь.

Переходя древним Винтервским мостом через речку Золотуху, я ступал по дощатой, с ездившими досками мостовой, а не по привычному асфальту. Небоскрёб областной

администрации, громоздкий, несурзанный, куда-то провалился, словно его и не было. Своё исконное, природное место занимал длинный двухэтажный жилой дом. Над входным его крыльцом, как рыцарский щит, красовался дощатый, метровой величины, парадно раскрашенный орден Боевого Красного знамени. Из-за резных палисадников, о которых после того, как их снесут, сочинят популярную песню, показывали свои тёмные нахохлившись крыши ветхие домишки. Над ними поднимал своё хмурое чело домик, в котором в ссылке жил вождь. Ночная ветровая Вологда представляла передо мной в облике города, в который в 1945 году вернулись демобилизованные солдаты.

А хор, продолжавший своё дело, пел в компании с ветром:

От жары, от злого зноя  
Гимнастёрки на плечах повыгорали.  
Своё знамя боевое  
От огня солдаты сердцем заслоняли.

Эти гимнастёрки приводили меня в недоумение в детстве. Как они выгорают, я понял только тогда, когда натянул гимнастёрку на свои плечи и за три года досыта находился в ней.

А хор продолжал свое дело. Да так, что я дивился: они же с ветром перебудят весь город.



Песня гремела, катилась по улицам, как река валунов по ущелью, гремела артиллерийской канонадой, но на сонных фасадах домов не зажглось ни одного окошка, не промелькнул ни один огонёк. Песня летела, над городом, жила, но её никто не слышал. Я уже понимал: откуда разносится пение и куда я иду. Я шёл и спорил с собой.

«Там никого не может быть, – убеждал я себя. – Все люди, работавшие в подвале, давно умерли».

А хор, словно набравшись от ветра силы, обычную строевую песню соиздал, как гимн: – Они жизни не падали, – раскатисто, подобно эху в горах, доказывали суровые басы.

– Защищая отчий край, землю родную, – океанским прибоем на фоне басов вторили им валы баритонов.

Песня вилась, взлетала в заоблачные выси. Клубы свинцовых облаков, несущиеся по небу, виделись мне бесчисленными, бескрайними батальонами, полками, дивизиями и корпусами, шагавшими из чужих земель. Не раз гостили на этих полях русский штык. И снова, водворив здесь мир и покой, он возвращался на родину – к заждавшимся лугам и лесам, улицам городов, цехам заводов и фабрик, просторным эллингам и металлургическим станам...

Редкие серые промелки стального неба были развёрнутыми, боевыми, потемневшими от крови знамёнами. В грозившем захлестнуть всю землю вое ветра я различал слаженную игру тысяч полковых оркестров: гулко бухали трубы и геликоны, взвивались валторны, пронзительно звали в атаку трубы, пели кларнеты, трещали и отбивали ритм походного шага барабаны.

Но ветер и хор пели не об одной славе, не только о победоносной славе неистово стучал в тугие бока большой барабан. В тихих стенах ветра, в скорбных вздохах хора чуткий сердечный слух слышал жалобы материнских, вдовьих и сиротских слёз. Слышал он и тоску солдат, оставшихся инвалидов, калеками.

Одолели, победили  
Всех врагов в боях за Родину святую, – смело говорили чистую правду тенора.

Песня вела меня, как поводырь слепого, к знакомому дому.

Тусклый подвал чудесно переменялся в белый, сияющий, лучезарный зал, хотя ламп освещения не было видно. По стенам и потолку текли переливчатые, рубиново сверкающие звёзды. На стене распространял во все стороны лучи портрет полководца в полевой солдатской шинели, в фуражке со звёздочкой. Мои вчерашние инвалиды переодеты из лохмотьев в новенькие, глаженные гимнастёрки с погонами. Большинство рядовые: пехотинцы, танкисты, артиллеристы, пограничники, лётчики. Скроменные награды, почти одни медали. И все солдаты зрячие. Только тут меня пронзило, что я сплю. Я проснулся. Люди-сновидцы знают о таком явлении,

как сон во сне. Тебе снится, что ты спишь. Но это – тоже сон. Ты просыпаешься. Однако просыпаешься во сне, в котором спишь. И, проснувшись, ты продолжаешь в *том* сне по-прежнему спать. Так случилось со мной, я проснулся в том самом сне, в котором спал.

– Здравствуйте, – сказал я, входя в зал, и прибавил с комом в горле, – герои.

– Ты кто? – спросил бригадир.

– Да ведь это наш мальчик! – одним голосом вскрикнули солдаты. – Наш мальчик!

Они обступили меня со всех сторон, неотрывными любящими взглядами словно гладили меня, даже дотрагивались до меня.

Они говорили все сразу. Уже потом, в яви, я вспомнил обрывки их слов.

– Мы помним тебя, мы ждём тебя уже сколько лет, – говорили солдаты. – Не удивляйся, что видишь нас зрячими, ведь душа не может ослепнуть. Ты один из тысяч прохожих заглянул в подвал и пожалел нас в этом тёмном, душном гробу. У многих из нас, пусть и вернувшихся с войны, так и не было детей. Мы тебя считаем своим сыном, и твоих детей, и твоих внуков. Вы все родные нам.

– Милый мальчик, мы всё о тебе знаем. Заступись за нас. Мы молодые, сильные, превратились в инвалидов, доходяг. Охота ли, когда тело полно силы, сердце – жажды жизни, а ум ещё молод и смел, сидеть и, как кукла, подсовывать под штамп эти жестянки. Но это ещё полмуки.

– Поверь, есть мука, какой страшней нет на свете. Заступись за нас. Скажи правду. Не верь тем, кто говорит, что мы воевали зря.

– Мы не верим, – зарывав, закричал я.

– Ты не веришь, другие поверят. Не угощали нас враги баварским пивом, они поролы нас плетьюми в лагерях, ломали рёбра дубинками и ударами кованых сапог, они топтали нас в грязь, выбивали нам зубы, травили собаками. Среди всех ты видишь нас, троих братьев. Ты пел в школе песню «Три танкиста»? Так это про нас. Фаустник ударил по нам, машина загорелась, нас вытащили горящими, врачи спасли нас, мы остались живы, но с выжженными глазами. Что мы им сделали, гадам-немцам? Мы хотели любить Родину, своих матерей, жён и детей...

Солдаты замолчали и не сказали больше ни слова. Песня звучала всё тише, таяла, прощалась. Не было больше завываний и страшных сотрясений ветра, не маршрутировали корпуса и дивизии, не шли на боевой приступ гвардейские полки, матросы не кричали железными голосами «Полундра», не слышно было яростного рёва рукопашной схватки, когда люди, не шадя ничего в жизни, режут врагов.

Песня звучала. Но чей-то тихий таинственный, как в кино, голос за кадром говорил об удивительном сосуде. Не дано его увидеть живому человеку. Внешне он выглядит как драгоценный ярко-пурпурный кристалл. Этот сосуд не сравнить ни с чем. Самая высокая гора на земле – буторок возле него. Однако никакая буря или гроза не могут оставить на нём и царапины. Вещество, образующее сосуд, тоныше плёнки мыльного пузыря, но крепче самой прочной стали.

Кровь героев, пролитая за Отечество, за други своя, не впиталась в землю, не испарилась в пламени пожаров, когда, как воск, плавилась камни, рельсы и танковая броня... Такая кровь собрана и сохранена до капли... Это море русской праведной крови. Не утрачена ни одна капля крови воинов, отдавших жизни за Родину: polegших под пулёмётным огнем, бросившихся на амбразуры дотов, сгоревших в танках, утонувших в подводных лодках, и до сих пор покоящихся в них, как в стальных гробах; кровь всех, павших в честном бою.

Но больше всего здесь крови невинных детей, несмышлёных младенцев, порывистых подростков, отважных юношей и девушек.

Это море православно-праведной крови бережёт весь людской род от погибели, которую уже давно собирают на свои и чужие головы, осатаневшие от богатства безумцы.

Песня ещё слышалась, но то был не громовой, космический хор. Ветер отступил от заботливо опекавшегося им хора. Теперь это было вполне заурядное пение. Так поют роты на пути в полковую столовую на завтрак, на обед...

Далека дорога к дому,  
Но солдат пойдёт на край земли,  
коль надо...

Песня, исчезая, умолкала... Последние слова не столько слышались, сколько угадывались. Слово «солдата» я уже угадал в рифму.

Я проснулся. Спящая, родная Вологда лежала передо мной. Крыши её блестели от дождя, ветер всё так же нёс по небосводу батальоны облаков.

Лицо моё было мокро от слёз.

Как часто, только я зажмуру глаза, вспоминается мне тот не выдающий взгляд чёрных мёртвых глазниц солдата, который почувал, что кто-то заслонил ему свет. Тот свет, который он с друзьями-однополчанами защитил и отвоевал для нас.